

Татьяна Скрундзь

Бздюх¹

Рассказ

Сестре Юлии

Алешке исполнилось три года в 1995 году, в апреле. А спустя неделю после дня рождения, с которым для него не было связано ничего, что обычно бывает с трехлетними детьми, — ни подарков, ни праздника, — его привезли в дом стариков Жилиных на большом сером автомобиле прямым из детского дома. Мальчик прожил в детском доме недолго. После смерти родителей-наркоманов, у которых Алешку отняли еще в младенчестве, бабушка с дедом наконец решились забрать внука к себе, в Красные Горки. Деревня эта, или, по старинным понятиям, село, располагалась в нескольких сотнях километров от Санкт-Петербурга, прямо возле федеральной трассы М-20, что протянулась от культурной столицы на юго-запад, к Пскову. Чета Жилиных, оба красногорских корней, обосновалась здесь в пятидесятых годах и с тех пор почти никуда не выезжала.

Пока Жилины оформляли опеку, узнали, что отец Алешки погиб в 1994 году от передозировки, мать покончила с собой спустя несколько месяцев, но прежде, чем ребенок попал в детдом, он не раз был перекинут с рук на руки. Чужие люди, дальние родственники отца, кормили мальчишку чем попало, одевали во что придется и гоняли от себя куда подальше — лишь бы не путался под ногами — более двух лет. Троюродные тетки и пятиродные дядьки сменялись перед глазами подрастающего малыша нескончаемым калейдоскопом, не задерживались в памяти, зато оставляли после себя черные дыры в его сердце. Плакать, капризничать или еще как-то привлекать к себе внимание Алешка отвык еще при родителях, а думать о взрослых с надеждой и уважительно — и того раньше. Повадками он походил на дикого хорька, в его хмуром лице и во всем облике отражалась опасливая свирепость.

Опекуны Алешки Жилина (бабушка с дедом дали внуку свою фамилию, которая была также девичьей фамилией его матери) ничего не знали о жизни внука до того, как государство, ошалевшее от послеразвалочного кризиса, заинтересовалось своим маленьким гражданином. Связи с дочерью, их единственным, поздним, долгожданным, а потому избалованным и эгоистичным ребенком, не было много лет. Забирая мальчика, старики не подозревали, что за подарок падает им в руки, а получив, не могли понять, за что и для чего с

Татьяна Скрундзь — родилась в городе Липецке. Училась в Москве в Литературном институте им. А.М. Горького, семинар А.Ю. Сегеня. Печаталась в журнале «Петровский мост». Живет и работает в Липецке, ведет литературную студию. В «Урале» печатается впервые.

¹ Бздюх — хорек в диалекте некоторых северо-западных регионов России.

ними сыграли такую злую шутку. Жилины, еще не пережив потери собственного ребенка, почувствовали себя обманутыми, взявшись поднимать другого. Алексей казался тупым и не пробиваемым никакими увещеваниями. И порадоваться можно было только тому, что мальчишка молчал куда чаще, чем говорил, поскольку весь его словарный запас состоял из мата и разных требований.

Бабушка, женщина чрезвычайно мягкая, безответная, старалась не замечать пугающих черт характера внука, натужно, пересиливая себя, лебезила, по-старушечьи угощала сладостями и все надеялась на то, что Алешка как-то сам собой привыкнет к дому и станет таким же, как все обыкновенные деревенские дети. Но внучок не привыкал и все больше противился бабкиному вниманию. Дед же, напротив, хлестал парня хворостинной как за хамство, так и за всякое более-менее невинное баловство. Человек резкий, суровый, крутого нрава и строгих правил, дед не разменивался на слова, но воспитывал внука с горячностью, твердо веря в силу розог и презирая жену за мягкотелость.

Тем не менее мальчик был еще слишком мал, когда появился в селе, и вряд ли можно было говорить о нем как о личности потерянной и никудышной. Конечно, может быть так, что родительские пороки питают дух младенца еще в утробе, и Жилины именно этим объясняли себе натуру ребенка. Как многие брошенные дети, он, конечно, был юродив в своем роде, но, как и все маленькие дети вообще, зла не любил и тонко чуял лицемерие или искреннюю приязнь окружающих его людей.

По несчастью, приязни к нему не испытывал почти никто ни в раннем младенчестве, ни теперь, когда он оказался вроде бы у своих за пазухой, а на самом деле всего лишь сменил место выживания. Весь основной период становления личности мальчик рос одиноким, злым сорняком с крепким корнем и отвратительными колючками. Так он привык и только так умел жить. Но даже если Алешкой в какой-то мере и правили наследственные склонности, жизнь живая учила его много большему. Так выходило, что по мере взросления он лишь утверждался в своих привычках и усугублял их разнообразием познания.

Если бы маленький угрюмец и хотел, вряд ли сумел бы признать в бабке с дедом семью. Избыточная строгость с одной стороны и притворные ласки с другой склоняли сразу же причислить их к чужакам, с каковыми способы взаимоотношений были Алешкой уже давно усвоены: всем вокруг он дерзил, всех опасался, ничуть не стеснялся дразнить немощь стариков и дрался с соседскими ребятишками. Но не по злобе, а скорее от одиночества и непонимания нормальной жизни. Малышей скоро перестали допускать к Жилиным, а дети постарше сами обходили драчуна стороной. Алешка ревновал к их нормальной жизни, как ревнует к молодым семьям одинокий неудачливый забулдыга, и, словно пьяными насмешками, издали бросался в ребят камнями. Никто не желал дружить с ним, и бессильная обида скапливалась в маленькой несчастливой душе. Даже животные боялись мальчишки. Они, как будто чуя волчонка, рычали, шипели и грызались на всякую попытку подойти близко. За это Алешка начинал ненавидеть и их.

В пять лет парень впервые отравил соседскую собаку. Украл мышьяк из кладовой Жилиных, украл мясо, ловко размешал отраву в кормушке и потом долго смотрел из-за забора на мучения умирающего животного. В ту минуту он впервые почувствовал себя отомщенным. А оставшись к тому же безнаказанным, Алешка ощутил некий прилив сил от удачно свершенного акта мести. В течение года его жертвами стали еще и несколько деревенских кошек. Эту Алешка просто вешал. Однажды он был пойман на месте преступления. Претерпев жестокое наказание от деда, еще больше замкнулся и обозлился на воспитателей. Но животных пришлось оставить в покое.

Тем временем естественное детское любопытство росло в нем с космической скоростью, и теперь оно привело мальчишку к вопросам пола. Нена-

вистный, мучительный интерес познания человека трепал Алешкину душу, как треплет ветер одинокий ноябрьский лист. Больше всего Алешку занимали различия между девочками и мальчиками. Чтобы распознать их воочию, Алешка стал заманивать в кусты ровесниц, заставлял снимать трусики, разглядывал, трогал с каким-то сосредоточенным, сердитым любопытством. Надо заметить, что хитер он был не по годам. Жизненные трудности и взрослых зачастую делают приспособленцами, а ребенок, как губка впитывающий в себя мир, очень быстро научается извлекать для себя пользу всеми доступными методами в любых обстоятельствах, оставаясь при этом незамеченным. Игрушки, обыкновенные детские игры вроде прятков, фантастические клады в дальних уголках садовых зарослей — все шло в ход.

Однако и в этом случае Алешка недолго оставался безнаказанным. Девочки — народ бесхитростный, им совершенно не свойственно держать при себе переживания. До деда дошли жалобы, возмущенные родители стали требовать наглядного воздействия на мелкого «бздюха», как прозвали Алешку местные. Старик сорвался, бросил хворостину и в злобном бессилии стал избивать мальчишку всем, что попадало под руку. «Не понимаешь если, так бойся!» — орал он при этом, брызгая слюной на визжащего под ремнями, поленьями и кочергами внука. Бабушка не вставала на защиту Алешки, не сопротивлялась. Ужасающее поведение внука приводило ее в отчаяние. Часто хотелось просто избавиться от него. А вопли избиваемого ребенка так потрясали сердце старушки, что она приспособилась в начале каждой ссоры незаметно убежать из дома к соседкам, лишь бы не слышать и не видеть брани и не участвовать в этих скандалах.

Слухи о несправимости «хорька» стали расплзаться по деревне, и, как это обычно бывает, слон из мухи рождался гигантский. К шести годам Алексей стал издалека узнаваем всеми жителями. Почти все они считали, что мальчишке в будущем светит если не зона, так скорая гибель. Многие советовали несчастным опекунам сдать опасного отрока обратно в приют. Но Жилины медлили, страдали в безысходности, сомневались. И снова смирялись. Родная кровь как-никак. И совесть не позволяла. «Пускай остается, — решала бабушка. — Видать, в наказание нам дан этот неслух». — «Это ты мне наказание! — кричал дед. — Взяла на свою голову, лопочи теперь! — А еще добавлял: — Поглядим, поглядим!» И бил с удвоенной силой.

Внук действительно стал для стариков самым большим несчастьем в жизни. Мальчик почти не развивался. Говорил плохо, рос медленно. Зато характером делался все более упрям, скрытен, равнодушен даже к побоям. При встречах с людьми Алешка изо всех сил старался утвердиться в своей независимости и каждый раз выкидывал что-нибудь хулиганское. Деревенский люд объявил Алешке что-то вроде бойкота: при его появлении на улице закрывались дворовые калитки, запирались двери в домах. После своих редких прогулок по селу мальчик возвращался усталым и еще более злым, чем уходил из дома, — словно одинокий ураган, который, облетая свои владения, обнаружил, что все возможное уже вырвал с корнем и забросил так далеко, что и самому не достать. В конце концов, Жилины запретили Алексею выходить куда-либо без присмотра. Теперь он играл разве что во дворе жилинского дома да по теплоте еще бегал до недалекой мелкой реки, где обычно паслись коровы на холмистых берегах. После за побег он получал от деда очередную взбучку, отдыхал и снова бегал с упорством человека, гонящегося за самой свободой.

В Алешкиной душе царило мрачное безразличие, и несколько месяцев домашнего ареста не казались чем-то особенным. С одинаковой мрачной суровостью он переносил любые обстоятельства, а в войне с миром не ощущал разницы между бабкой с дедом и сторонними людьми. Все были чужими, все таили в себе опасность, всех их Алешка на дух не переносил и терпел лишь из необходимости, покуда еще не вырос и не обрел свой голос в жизни. Старики терпели тоже, старались скрыть от всех свою боль, страх будущего, стыд. Так

продолжалось до самой зимы, после которой Алешке должно было исполниться семь лет.

Наступало Рождество.

В тот вечер бабушка уже сильно затемно начала собирать на стол. Она, как и дед, не говела ни разу в жизни, но Христовы праздники чтит и исполняла. В церковь старики не пошли, да и по-светски праздновали очень скромно. Елку дома не ставили: ни старикам, ни Алешке она была ни к чему. Жилины жили невесело. Одну сосновую ветку с нитью облезлой мишуры бабушка поставила в вазу и водрузила на буфет, где среди книг по кулинарии пряталась единственная в доме икона Богородицы. После обеда громко настроили старенький телевизор и так и не выключали до вечера, а еще днем дед зарезал любимую Алешкину курицу — Настю.

Настю, большую старую наседку, было легко поймать и совсем нетрудно удерживать в руках даже весьма долгое время. Алешка не однажды ловил и с хищным восторгом пытался ощипать ее заживо, но дед или бабка всегда успевали отнять. Теперь Настя лежала в чугунной утятнице непривычно голая, синюшная, без головы. Алешка наблюдал за приготовлением праздничного стола из общей комнаты, откуда просматривалась почти вся кухня. Он видел, как бабушка потрошила птицу и нашинковывала ее чесноком и слышал едва различимый шепот: «Гонял-гонял тебя, а теперича съест. Так и нас небось сожрет когда-нибудь, прости, Господи». Алешка понял, что это про него. Только не догадался, каким именно образом он съест живых бабушку с дедушкой: «Может быть, им тоже придется отрубить головы, как Насте?» Почему-то стало неприятно от этой мысли. Алешка спустился с кровати, на которой лежал весь вечер, суровый и решительный, прошагал мимо бабки в сенцы, надел на себя старый пуховик, на круглую стриженую голову натянул вязаную шапку.

— Куды это ты, Лешенька? — притворно ослабилась бабушка, не прерывая работу, а только повернув широкое морщинистое лицо через плечо, в сторону внука. Через приоткрытую дверь было видно, как в это время она старательно запихивала в нутро курицы лимон. Большой, светло-желтый, яркий как солнце, он еще больше оттенял Настину бледность.

— На двол пойду, — угрюмо бросил мальчишка, обуваясь.

Бабушка с сомнением взглянула на внука, но только вздохнула глубоко и без особенной надежды в голосе попросила:

— Встретишь там деда, подсобишь, а? Дед наш в магазин отправилси. Небось сумки тяжелыя. А? Понял, Леська? — бабка говорила по-деревенски, с ударением на последний слог в слове «понял». — Поможешь деду?

Последние слова прозвучали под стук двери. Алешка вышел из дома. Снаружи снега не было, легкий сухой мороз холодил лицо. Светила голая и холодная, как ощипанное Настино туловище, луна. Мальчик засунул руки в карманы шерстяных штанов, постоял немного на открытом крыльце, ступил на песчаную дорожку и пошел к ограде, изредка пиная на ходу замерзшие комья земли. Дом стоял на пригорке, и от забора была видна автомобильная магистраль. Там всегда неслись, куда-то вечно спеша и гудя от возбуждения, большие, нарядные, в разноцветных лампочках фуры и маленькие, юркие легковушки, похожие на тараканов, которым на спины приклеили спичечные коробики и отправили в тараканий забег — чей придет быстрее.

У калитки Алешке встретился дед. Краснощекий, большеносый, с испариной на лице, с растрепанной, клочковатой, короткой бородой. На обнаженной голове торчали в разные стороны, словно крошечные сосульки, редкие седые волосы. В его руках мальчик заметил большую холщовую сумку, из которой торчала мохнатая дедова шапка.

— Ку-у-уда? — выдохнул дед Алешке в лицо крепким алкогольным паром.

— Туда, — сгрубил Алешка.

— Ы-ы-ых!

Дед замахнулся на внука свободной рукой, но тот проскользнул мимо и выскочил за его спиной в калитку.

— Чтоб через полчаса дома! Слышь? — крикнул дед ему вслед. Не дождавшись ответа, гневно крякнул, сплюнул на ледяную грязь и побрел к дому. С каждым его шагом мерно позвякивало содержимое сумки.

Алешка остановился с внешней стороны забора, глядя на далекую, светящуюся огнями фонарей трассу. На улице было холодно. Над деревней нависла предпраздничная тишина, не слышалось ни движения, ни дуновения ветра, даже собаки не лаяли, а студёный воздух заставлял ежиться и скрипеть зубами. Становилось тревожно от темноты, обступающей со всех сторон. Далекая неполная луна только подчеркивала одиночество.

Алешка вспомнил о своей собаке. Да, у него все-таки имелся свой собственный друг — собака, и, наверное, это было единственное существо в жизни мальчика, которое он неумеючи, но по-настоящему любил. Маленький, кривоногий грязно-белый песик с умильной родинкой на левой щеке и лениво-добродушным нравом безвылазно и незаметно существовал в хлипкой конуре на жилинском дворе. Из-за своего неудавшегося роста он оказался совершенно бесполезен в хозяйстве. Дед скупко кормил собаку, но внимания никакого не оказывал. Безымянным пес сидел на цепи с самого своего щенячества и отчаянно скучал. Алешка же играл с ним, порой даже подкармливал кусками от собственного ужина. За такое невиданное внимание можно было простить всякую жестокость в обращении, а игры у Алешки, как и он сам, были неласковые: мальчишка трепал пса до визга, таскал за уши, поднимал за шерсть, колол исподтишка колючками и осыпал репьями, смеясь тому, как, выкусывая их из шерсти, нервно клацают собачьи зубы.

Но, несмотря на это, собака привязалась к нему, тем более что маленький человек был единственным другом в ее собачьей жизни. Можно было предположить даже, что животное жалеет мальчика и страдает более от неумения научить хозяина своей преданной нежности, чем от незаслуженных обид. Часто они проводили вместе несносное для обоих время. Собачья будка стояла в глубине сада с торца дома. Мальчик приходил сюда плакать после дедовых побоев, пес выбирался из своего тоскливого существования в тесной конуре, осторожно подползал так близко, насколько позволяла недлинная цепь, вылизывал его грязные руки и соленые мокрые щеки, скулил что-то утешительное.

Дед не позволял спускать собаку с привязи, но пару раз, когда его не было дома, а бабка, по обыкновению, за внуком не следила, Алешка нарушал запрет и забирал друга на прогулку к реке или в ближайшую лесополосу. Природа не вызывала в мальчике каких-то особенных чувств, но ее безмолвие и кроткое приятие любых Алешкиных выходов успокаивало и заставляло не бояться, не таиться в ней, а быть тем, кем на самом деле хочется быть. А Алешке, хоть он этого и не осознавал, очень хотелось обыкновенного человеческого детства. Без злобы, без обиды, без надоевшей хмурости бытия.

Алешкин товарищ радовался прогулкам, как пленник может радоваться нежданной вольности, и за то без меры одаривал любовью своего маленького хозяина. Благодаря приключению на одной из таких вылазок пес был окрещен настоящим собачьим именем. Случилось это прошлым летом. Алешка решил устроить охоту и взял собаку с собой. Они ушли к небольшому искусственному озерцу, что было вырыто для домашней птицы на краю села. На гладкой поверхности пруда степенно покачивались в ленивой полудреме умные толстые гуси. Нужно было с разгону неожиданно подбежать прямо к воде, всполошить их. Испуганные гуси всегда бегут врассыпную тяжело, вперевалку, хлопая по воздуху бесполезными крыльями. Тогда можно поймать одного за толстую шею, побороться. Игра увлекла Алешку.

— Гуси-йебеди-и-и, эге-ге-гей! — орал он, стремглав сбегая вниз по холму, таща за собой неуклюжего пса. — Гуси-и-и!

На середине пути собака вдруг неловко дернула цепь, худой, легкий мальчик споткнулся и упал на скользкую траву. Кубарем он покатился вниз, больно стукнулся о какой-то камень и очутился в грязной, густой от гусяного помета прибрежной луже. Песик подбежал к нему, уселся и стыдливо заелозил по земле тощим хвостом. Высунув наружу жаркую тряпку языка, он широко улыбался клыкастым ртом. Алешка поднялся, подобрал цепь, резко притянул собаку вплотную к себе, прижал за ошейник к земле так, что собачий нос зарылся в мягкий влажный песок. Пес дернулся было, умоляюще скульнул и замер. Не разжимая стиснутых молочных зубов, по-детски нелепо и пугающе глухо Алешка прошипел:

— Стой смилно, чолтова животино.

И стал изо всей силы лупить его цепью по дрожащим от боли бокам, по голове с зажмуренными глазами, по молчаливой морде. Недавний друг только прижался к земле всем телом и не двигался. Кажется, умер от ужаса. Потом Алешка остановился, убрал тощую ступню в мокро-коричневом сандалие с цепи, в последний раз пнул избитую собачью ляжку и, почти как дед, зло сплюнул в озеро и пошел прочь, преисполненный какой-то необъяснимой, то-скливой гордостью.

Через некоторое время пес, ковыляя, вернулся домой. Алешка сидел возле будки, скрючившись в костлявый комок, уткнув лицо в колени. На голове, немного ближе к виску, красовалась неглубокая, но большая и грязная, слегка кровоточащая рана. Дед заметил пропажу собаки. Земля вокруг была истоптана огромными, тяжелыми следами сапог и мятыми следами катающегося по земле детского тельца. Рядом валялось увесистое полено. Наказание настигло Алешку прямо здесь, на месте преступления. Он уже не плакал, только крупно вздрагивал и тихо, по-собачьи подвывал. То ли знакомые скорбные ноты в голосе человеческого детеныша, а то ли природная собачья доброта заставила его забыть о себе, но пес несколько минут молча смотрел, а потом, погромыхивая волочащейся позади цепью, подошел и стал вылизывать рану.

С этого дня Алешка больше ни разу не ударил и даже не пнул его. Безымянному до сих пор зверю он дал имя Бим. Случай не забылся, и воспоминание еще долго волновало, бредило в огрубевшей, но еще живой душе слабый пульс совести. Ведь даже самое ожесточенное сердце порой смягчается прощением; тем более поведение животного глубоко поразило маленького дичка, до сих пор ничего не ведающего о милосердии.

Сейчас Алешке захотелось выгулять собаку. Он знал, что дед пойдет на поиски гораздо позже, нежели через полчаса. Успеют вернуться. Пробравшись обратно во двор, он обошел дом слева и тихо позвал:

— Бим, Бим! — тот вылез из будки, яростно виляя хвостом и улыбаясь всей пастью. — Гуять. Гуять.

Бим запрыгал, в приступе восхищения стараясь лизнуть хозяина в лицо. В глухой темноте вечера громко лязгнула цепь. Алешка вздрогнул, глянул из-за угла на крыльцо. Подождал немного. Тихо. Потом снял с друга ошейник, осторожно положил вместе с цепью на землю и, торопясь, снова пошел за забор. Это был серьезный риск — так нагло отпустить собаку, когда дед дома. Пес посеменил за ним на коротких ногах, заискивающе стараясь подглядеть в лицо человеку: что тот задумал?

— К тласе пойдём, в сады, — шепотом объяснил мальчик. Бим не отставал и внимательно слушал. — Туда и облатно...

Выйдя за калитку, Алешка припустил бегом по полю, прочь от ненавистного дома. Скоро стало достаточно далеко. Бим почувствовал волю, носился вокруг, громко и весело гавкая. Колочий ветер холодно пробирался под куртку, заставлял разгоняться по телу кровь, вводил в безумие равно открытое как для радости, так и для злобы неопытное детское сердце.

За вспаханной с осени полосой земли стояли еще дома. Сейчас эти хибарки были ярко освещены луной, старые шиферные крыши полосато топорщи-

лись навстречу. Запущенные сады возле полусгнивших деревянных построек мистически привлекали к себе. Этот участок деревни был совсем заброшен. Несколько бедных избушек, построенных некогда ближе к торговому тракту, ныне оказались стоящими прямо у федеральной трассы. Жить в таком месте людям не хотелось, и хозяйева давно и безуспешно пытались их продать. Здесь, в зарослях одичавших яблонь, Алешка порой прятался от деда, просиживал целые дни, возвращаясь только к ночи, когда становилось не по себе от сумерек. А иногда играл здесь в умиротворяющем одиночестве или с Бимом.

Друзья добрались до первых кустарников, плотных, похожих на высокую живую изгородь. Недалеко за ней слышался рев проезжающих автомобилей, то и дело сверкали отблески фар, длинными полосами они проплывали по верхушкам кустарника и крышам заброшенных домов. Запах выхлопных газов растворялся в морозном воздухе. Алешка пошел насквозь через вытянувшиеся в струны, окоченевшие яблоневые побеги. Кое-где среди них виднелся слежавшийся снег. Лед на ветках деревьев празднично сверкал под серебристой луной, и от этого сад казался волшебным, чарующим замком из зимней сказки. Разглядывая блики луны на ветвях, которые то и дело перебивались светом фар, Алешка все больше углублялся в заросли, а они паутиной все гуще сплетались вокруг него. Трасса, казалось, утихла, в густом саду уже не так слышно было ревуших монстров на колесах.

Незапно из-за деревьев вырос старый, с покосившимся бревенчатым оголовком колодец. Косая треугольная крыша нависала сверху, ведра не было.

— Бим, Бим, ко мне! — закричал мальчик. Пес шуршал прошлогодней листвой где-то в глубине сада.

Никогда до сих пор Алешка не видел этого колодца, никогда он еще так не углублялся в дремучий сад. Он подошел вплотную, заглянул вниз, погукал в глубину, послушал эхо, потом позвал снова, обращаясь в пустоту колодца:

— Бим!

— Им, им, — отозвалось эхо.

— Ты все плопустишь, чолтов пес!

— Олтов ос, ос, ос, — повторило оно.

— Здесь ууна внизу. И-ище что-то.

Алешка облокотился на край, ступив на нижнее бревно ногами, наклонился, вглядываясь в черноту, но поскользнулся и в следующую секунду полетел вниз. Со стороны трассы прогудел трубный звук автомобильного сигнала дальнобоя.

Дед напился.

— Степан, Степа, иди ужо, а, — упрашивала бабка.

— Щас пойду, жди, — хлюпал тот и наливал еще. — Я его, ублюдка, выдеру на морозе, — грозил, — и пса заставлю ссать на него!

— Степочка, отдохни ж ты, окаянный. Я на двор пойду, погляжу.

Бабка уже два часа билась в выборе между злостью на мальчишку и волнением за него. Алешка еще никогда не уходил так надолго. Ночи он боялся как черта, домой прибегал не позже сумерек, независимо от настроения деда. А по темноте далеко от участка не отходил. Надо было выйти и хоть поаукать. Степан не пускал:

— Не ходи. Жрать захочет, придет, сукин сын. Рождество ему накося. Розог в подарок. Букет! Мать не драли, так та вон как подохла... Не допущу! — И он снова раздражался бранью, и снова наливал.

Скоро Степан Жилин, едва не свалившись с табурета, все же позволил жене увести себя на перину. Лег, вытянулся во весь рост, утер бородой губы и захрапел, не успев убрать изо рта одну седую прядь. Она прилипла к нижней губе и смешно подлетала в воздух, когда дед выдыхал, и заваливалась между зубов, когда вдыхал. Бабка оставила все как есть, накинула пальто и шерстяной платок, вышла. Время близилось к полуночи. Пройдясь вокруг дома, позвала

несколько раз: «Леша! Лексей!» Высунулась за забор, крикнула еще, погромче. Никто не отозвался. Мороз заметно покрепчал, а на ногах оказались только домашние тапочки. Забыла впопыхах обуться. Рядом с домом — тишина.

Многие в это время были в церкви, на Рождественской литургии, их жилища в ожидании хозяев загнипнотизированно глядели черными окнами на улицу. Но деревня не спала, замерла в ожидании Рождества. В других домах горел свет, тусклые желтые полосы протянулись от них на дорогу.

— Кажись, загулял где-то. Забыл, что у него бабка-то есть, — уныло пробормотала Жилина самой себе. Идти в гуляния не хотелось, кроме того, она успела продрогнуть до костей. — Может, и прав старик-то?

Всколыхнулась обида, легко одолела беспокойство. Бабка утерла с холодной щеки набежавшую слезу. Что делать-то? В эту минуту раздался удар колокола. Один, за ним второй, и вот, все больше и больше набирая силу, разлился по селу торжественный перезвон, заполняя улицы. Рождество! Из домов начали выходить люди, скоро должны пойти толпы встретивших праздник в храме. Жилина постояла еще немного, поглядела вдаль. Загремел салют, перебивая торжество веры, и через минуту утих, брызнув в небо навстречу луне последним невысоким фейерверком. Послышались далекие выкрики поздравляющих друг друга сельчан. Жилина совсем успокоилась. Праздничные гуляния убедительно доказывали, что жизнь продолжается и в ней ничего страшного случиться не может, а тем более сегодня, в день явления Спасителя миру. Бабка потеряла замерзшие в прорезиненных тряпочных тапках ноги одну о другую, пробурчала под нос: «Жрать захочет, вернется» — и пошла назад.

В доме храпел дед и сильно пахло спиртным. Убрав со стола, переодевшись в широкую хлопчатобумажную ночную рубаху, всю в пятнах поблекших от времени гигантских васильков, бабка встала перед буфетом. Корешки книг с надписями «О молоке», «О мясе», «О яйцах» обступили таинственные молчаливые лики Божией Матери и Младенца. Жилина помолчала, подняв глаза, и долго и слезно всматривалась в икону. Настенные часы пробили один раз. Бабка со вздохом отошла от буфета, в ожидании внука прилегла на старенький диван. И почти сразу крепко уснула.

Алешка очнулся спустя несколько минут после падения. Воды в колодце почти не было, только неглубокая лужа в середине дна, но она оказалась ледянее самого льда, густая, вязкая, как в болоте. На поверхности плавал какой-то мусор, отовсюду пахло гнилью и разложением. Видимо, мальчишка перевернулся, когда падал, потому что приземлился на бок, ноги оказались в луже, а сам он полулежал, касаясь головой стенки шахты. Алешка подтянул колени к животу; верхняя часть брюк оставалась сухой, но намокшая до середины голени шерстяная ткань стала тяжелой, прилипла к телу и нещадно морозила. В голове шумело, казалось, что падение еще не закончилось или что оно вот-вот неожиданно продолжится. Сверху послышалось жалобное скуление, лай и снова скуление. Бим не сбежал и теперь звал хозяина. Прежде всего Алешка подумал о том, что нужно вернуться домой — и сухим, иначе дед обязательно выпорет его. Мальчик задрал голову вверх. Высоко над ним зияла черная свободная пустота, через квадратное отверстие вниз попадал узкий белый луч высоко стоящей луны, но до самого дна он не проникал, зависнув размытым пятном на стене шахты где-то над Алешкиной головой. В колодце стояла необычайно оглушающая тишина, и в этом вакууме мысль о наказании гудела колоколом.

С трудом он приподнялся и, трясаясь от страха и холода, прижался к стене, стараясь отодвинуться от воды как можно дальше. Каждое движение отзывалось болью, такой, как бывало, когда дед избивал его с особенной яростью. Алешка сильно ушибся и только чудом не сломал себе ни одной кости.

— Би-и-им! — позвал мальчик. Напуганно, но требовательно, как кричат младенцы, когда просыпаются ночью от нехорошего сна и призывают мать.

Колодец гулко отразил крик. Бим отозвался сразу далеким, тревожным лаем. В шахте звук прозвучал многоголосьем целой собачьей стаи. Увидеть Бима не удавалось. Алешка жадно прислушивался к звукам снаружи, но, когда пес умолк, услышал только собственное тяжелое дыхание и стук сердца. Мальчишка привстал на колени, стал ощупывать стенки колодца руками. Шахта из булыжника оказалась внутри круглой, как стакан. Покрытые сырым холодным мхом неровные выступы обдирали грязные пальцы, которые быстро онемели и беспомощно соскальзывали с них. Он постоял так немного в беспомощном недоумении, поднялся в полный рост. Мокрые ноги стали зудеть, и зловонная сырость от минуты к минуте, казалось, медленно поднимается все выше, до самого лица, пробираясь в самые заповедные уголки тела. Равнодушный лунный луч слабо освещал стенки колодца сверху, из далекого, как сам космос, неба.

Мелко переступая от холода, он еще раз попробовал зацепиться за ледяные выступы, попробовал нащупать опору ногами. Бесплезно. Ступить было некуда, зацепиться не за что. Алексей думал про деда. Что будет, если Бим вернется домой один? А может быть, они только порадуются... Злая мысль вдруг словно руками с когтистыми пальцами сжала бьющееся детское сердце. В какой-то момент мальчик вдруг с ужасом осознал, что предпринять для своего спасения он ровным счетом ничего не может. Представилось, как дед с бабкой потирают ладони и противно хихикают. Мальчик непроизвольно застонал от нахлынувшей жути. Тьма становилась как будто гуще, а гулкая тишина шахты, казалось, вот-вот разорвет уши. Лицемерной лаской тьма медленно ослепляла и мозг, и сердце. Смиранный, душащий безысходностью страх обступал Алешку, а скользкий неровный цилиндр шахты ненавидел его, как весь мир. Алешка как никогда почувствовал одиночество. Раньше оно было привычным спутником жизни, почти другом. А сейчас неожиданно оказалось врагом. Мальчик уселся на корточках, сжался, стараясь согреться. Все выходило так, что жизнь в очередной раз расставила ему ловушку, она так и норовила отбросить Алешку на обочину, раздавить, уничтожить. Сверху тоскиво заскулил Бим.

— Я вылезти не могу-у, — протянул Алешка, глядя вверх.

Все-таки поверить в то, что его бросят здесь насовсем, Алешка не мог. Рано или поздно их должны хватиться, ведь с тех пор, как он с собакой ушел из дома, наверняка прошло уже много больше, чем полчаса. Может быть, и бить не будут, он же нечаянно. В сомнениях, будут или не будут его ругать, и в неясной надежде на скорое избавление он просидел некоторое время, переминаясь и изредка зовя Бима, чтобы убедиться, что тот еще рядом. Песик крутился где-то поблизости, иногда не отвечал по целой минуте, которая казалась Алешке вечностью, но непременно возвращался и вновь принимался скулить и лаять, оповещая о своем присутствии.

Сколько времени он находится в колодце, ребенок не представлял. Луна потихоньку ушла с неба куда-то в сторону, ее тонкий луч исчез из колодца, стало совсем ничего не видно. Холод к тому времени совершенно сковал пальцы рук, ступни стали невыносимо пульсировать, как будто их непрерывно простреливали острые ледяные иглы. Алешка ждал. Они обязаны были найти его. Но ведь никто и не знал, что он тут бывает. Дрожа всем телом, мальчик закутался в пуховик плотнее, натянул до бровей шапку, испачканную при падении на дно в сырой колодезной грязи, опустился на землю. Грязь облепила всю одежду, запачкала руки и лицо, но она казалась немного теплее воздуха, а запаха Алешка уже не слышал, и ему захотелось зарыться в нее, спрятаться с головой, как в одеяло. В памяти поплыли образы теплого дома, чудесной, как думалось в холоде, уютной кровати, чашки чая с молоком, что бабушка заставляла пить по вечерам, а Алешка всегда выливал его в раковину, как только старушка отвернется. Вот бы сейчас Алешке стакан горячего молока! Да что стакан, он готов был согласиться претерпеть любые побои даже за один гло-

ток чего-нибудь теплого. Незаметно прошла злость, теперь собственная неприязнь к миру и скука виделись Алешке непонятными, тусклыми, словно забытые ощущения далекого прошлого. Теперь он даже не стал бы обращать никакого внимания на раздражение бабки с дедом, он бы просто уснул там, в сухости и тепле.

Прошло еще много времени, прежде чем Алешка совсем размяк и заплакал. Тихо и горько, как плачут дети, когда их никто не видит. Тихий плач скоро перешел в громкий, а затем в иступленный вой. Алешка встал на колени, потому что замерзшие ноги уже не держали его, поднял руки к стенке и стал скрестись в нее, как это делал Бим внутри своей конуры, когда боялся выходить или когда слишком долго ждал хозяина.

— Гады вы! Гады! — закричал вдруг Алешка сквозь слезы в небо над колодцем и сильно стукнул кулаком в стену. Потом еще и еще. Отчаяние завладевало им, и чем больше он думал о том, как ему холодно, больно, страшно, тем становилось нестерпимее. Бим сверху натужно залаял, словно хотел сказать, что он рядом, он не оставит, но мальчик не обратил на него внимания, потому что в этот самый миг он уловил краем глаза, как заметались вокруг тени темнее самой тьмы.

Алешка затих на секунду в испуге, прислушался. Показалось, что он запытался, где находится и как сюда попал, и что это вовсе не колодец даже. Стены ли раздвинулись в стороны и пустили внутрь шахты призрачный свет, или это слезы так ярко блестели в глазах, отражая далекий космос, но тени стали еще различимей, они летали сверху и вокруг Алешки, они норовили подобраться к нему вплотную. Но что-то подобное кругу, начертанному мелом на полу вокруг молящегося Хомы Брута, невидимого демонам, не пускало тени ближе.

— Ба! Де-да! — завопил Алешка. — Я здесь! Ба-буш-ка-а!

Мальчик кричал, зная совершенно точно, что никто, кроме пса, его не слышит, слишком далеко, но кричал все громче, из последних сил глуша воплями подступающий к горлу ужас смерти, о которой не раз думал, но в которую никогда не верил. Все резче старался он уцепиться за неровные камни, подстегивая сам себя и уже ничего не соображая. Об острые сколы он, не чувствуя рук, до крови содрал несколько ногтей. Нескончаемое время растягивалось, как жевательная резинка, становилось все тоньше и тоньше, и, когда стало невыносимо и захотелось визжать, Алешка отдался страху целиком.

— Ба-а! Де-е-да-а! Ба-а-а! Де-е-да-а-а-а!

Когда же крик затихал в легких, сверху слышался голос Бима. Алешка принимался орать снова, выдыхался и продолжал с новой силой и не замечал, что голос охрип настолько, что вместо зова выходит визгливый скрип, похожий на скулеж раненого животного. И вот тогда мрачные образы подступающего конца наконец сдавили Алешку в плотный кокон, завладев окончательно его чувствами, бросили в стену раз, другой. А после этого уже оставили маленькое избитое тельце лежать крючком и тихо, безумно выть в ожидании последней минуты.

Утром домой прибежал Бим. За окном только начинала бледнеть ночная тьма. Песик заскребся когтями во входную дверь, шум разбудил Степанову жену. Спросонья она не сразу поняла, откуда исходит неприятный, настойчивый скрежет. А сообразив, неспешно встала, накинула халат и пошла к двери, ожидая увидеть там своего Лексея. Через минуту она трясла за плечо мужа.

— В сосульках аж весь. И в репьях. А Лешки нету, — бормотала она. Дед только отмахивался и мычал что-то невнятное.

Бабка не знала, что делать. Ее старый, изношенный мозг, достойно ответивший жизни на все трудности и даже на потерю единственной дочери, отказывался теперь давать разумные советы. В пальто и ночной рубаше она ходила по дому из угла в угол, высовывалась на улицу, смотрела на собаку. Бим сидел

у порога и, когда Жилина открывала дверь, принимался громко лаять. Старушка вынесла ему теплой воды и куриные кости со вчерашнего дедовского пира.

Наконец, она решила пойти за помощью. Выйдя, первым делом отвела Бима на место и посадила на цепь. Тот упирался, визжал. Но бабка схватила его за ошейник и силком дотащила до конуры. Уходя, она слышала, как истошно вопил пес, и крики эти так напугали старушку, что, торопливо выходя за калитку, она неловко перекрестилась и суеверно пробормотала: «Ах ты, чертово отродье. Беду лает».

На улице было пусто. В это раннее утро Рождества найти кого-то более-менее трезвого, кто в состоянии рассказать о ночном празднестве, представлялось почти невозможным. Холод пробирал до костей, небольшая поземка стелилась в ложбинах кривой деревенской дороги. Бабка сунулась в несколько дворов, где держали скот, в надежде на то, что такие хозяева поднимутся пораньше, но никого не нашла. Только в одном, за четыре дома от своего, она встретила угрюмую молодую женщину — Катерину. Как обычно, на ее лице красовался свежий синяк — муж Иван частенько побивал ее. В хлеву за домом мычала недоеная корова. О гуляниях Катерина ничего не могла рассказать и сурово отправила бабку прочь: иди, мол, жди своего беглеца дома и не тревожь честных людей попусту. В доме у Катерины спал маленький ребенок.

Одно время Алешка любил пугать малышку громким стуком в окно и всегда смеялся над негодованием «тетки Катяхи», которая, едва уложив и без того беспокойную девочку на дневной сон, была вынуждена успокаивать ее вновь и вновь, пока муж наконец не выходил из дома и не гнал сорванца прочь. И он, и жена естественным образом скоро возненавидели и Алешку, и, заодно, стариков Жилиных. Теперь Катерина с чувством некоторого удовлетворения прогнала старушку и, глядя ей вслед, злорадно пустила в свое сердце помысел о том, что «вот бы пропал совсем этот чертенок».

По улице мимо Жилиной, виляя из стороны в сторону, широко прошагал Егор-Колесо, прозванный так за то, что по пьяни всегда ходил кругами и почему-то исключительно по одному маршруту — от церкви до магазина, затем до дома и обратно к церкви. При этом он никогда не падал на землю, а непременно доводил свое непослушное большое тело до пристанища — или в кровати, или на лавке внутри храма. В храме было удобнее — утром, проспавшись, Егор-Колесо сразу брел к покаянию, а вечером того же дня все повторялось сначала. Бабка печально посмотрела на Егора и заторопилась дальше. Сегодня никому ни до чего, кроме собственных больных голов, не было дела. А уж что вчера на селе творилось, и подумать страшно. Бабка заволновалась еще больше. Что там с ним приключилось? А вдруг натворил чего?

В одном из знакомых домов, через две улицы, ей наконец открыли. Слышалась детская возня, на пороге стоял высокий красивый мужчина в темном трико. Босой, бородастый. Это был Дмитрий Иваныч, местный учитель. Как могла, бабка рассказала о пропаже внука, о песике, с которым он дружил последнее время, о том, что ушли они вместе, а вернулся один песик, о том, что ее Степан напился пьяным и насмерть убьет Алешку, если тот еще жив после морозной ночи где-то в лесу, среди замерзших репейников.

— Каких репейников? — удивился Дмитрий Иваныч.

— Да вот, я про псину энту. Она ж где лазила? С Лексеем небось лазила-то.

От собственных слов бабка вдруг залилась давно сдерживаемыми слезами, но продолжала что-то говорить и никак не могла остановиться. Хоть кто-то в это пустое утро слушал ее. Хотелось высказать все накопленное за несколько лет сразу. Дмитрий Иваныч прервал сумбурный поток слов, торопливо ушел одеваться. Скоро они вдвоем шли по направлению к местному отделению милиции. Утро посветлело. Тусклое солнце слепило бабке неумытые глаза и

резко подчеркивало морщины на ее лице. Бабка мелко семенила за широким шагом учителя.

— Не спала, что ли, мать? — бросил Дмитрий Иванович на ходу.

— Спала, батюшка, спала. Кабы не спала, дура такая, так уж онашла бы его, верно. А теперича...

— Не пропадет, не накручивай ты, мать. Знаем мы твоего Лешку. Если и не натворил ничего, так, даже если попал в переделку, не пропадет.

— Да он не бегал так ране. Где ловить-то его? Ы-ы-ы!

Они подошли к небольшому домику с облупленной штукатуркой — сельской администрации. Здесь же находился участок отделения милиции. Единственный страж порядка — участковый — ютился в пристройке с торца домика. Там он жил, там и работал, то есть пил и просматривал новости по казенному телевизору да иногда принимал жалобы от деревенских граждан. Жалоб в селе было немного, в основном семейного характера, и улаживались они быстро и без особого разнообразия — пострадавшие обыкновенно приносили с собой самогон или водку, а с виновниками потом под этот простенький магарыч проводилась воспитательная беседа.

Участковый был далеко не стар, но подозрительно болезнен. Кажется, у него еще до назначения в это село стал развиваться параноидальный психоз. Капитан Клюев при разговоре с местными всегда громко и сердито орал, а при отчете перед начальством бессознательно начинал тоненько пищать и лукаво улыбаться. Надо сказать, столкновения с руководством были редки. От скуки капитан пил, успешно уничтожая по мере поступления запасы спиртного как со своими подопечными, так и в одиночестве. Похмелье участкового всегда проходило тяжело, поэтому свою работу он очень любил. Чего нельзя сказать об Алешке, которого знал давно и так же долго сожалел о наличии потенциального малолетнего преступника в своем ведомстве. На вопросы и просьбы о помощи Клюев сказал только, что происшествий за ночь не было и что искать пацана он не станет, пока не пройдет трое суток.

— А там вон в областное отделение катите за своим ублюдком, заявление пишите о пропаже. Он на учете. Уж небось разыщут. А я что? У меня даже собаки нет.

И захлопнул дверь. Бабка замерла в нерешительном негодовании. Дмитрий Иванович почесал бороду.

— Надо искать самим, что ж делать-то?

— Как? Куды сначала-то иттить?

— Ты же должна знать, где он бывает? Играет где обычно? Знаешь?

— Откудова мне знать-то, — махнула рукой бабка и замолчала.

Дмитрию Ивановичу пришлось думать самому. Куда мог деться ребенок посреди небольшого села? В гости пойти он не мог, никто бы его не принял. Кроме...

— Погоди, мать. А Надежда Федоровна как еще, принимает у себя внука твоего?

— Надежда... Давно уж не звала нас. И Лешка-то не скажет ничего. А-а, — протянула бабка. — А ну как...

Дом Надежды Федоровны стоял на одной улице с домом Жилиных. Пришлось возвращаться назад. Люди тем временем потихоньку просыпались, выходили в Божий мир — кто за водой, кто похмеляться к соседям, где-то слышались голоса и кудахтанье кур, заждавшихся своего завтрака.

Надежда Федоровна, слезливая вдова, толстая и мягкая, как дрожжевое тесто, когда-то позволяла Алешке играть со своим сыном — на три года старше жилинского внука. Тогда сын вместе со своей добродушной и любвеобильной матерью еще жалел Алешку и одно время старался завести с ним приятельские отношения. Мальчик он был неглупый, учился уже в третьем классе сельской школы. Да была с ним одна оказия — едва ли не с пеленок парнишка

страдал ожирением и вдобавок среди школьных приятелей слыл «ботаником». Друзей как таковых у толстяка не было. Несомненно, иметь настоящего друга для всех детей редкая удача. Ваня, так звали сына Надежды Федоровны, ясно это понимал, но, несмотря на свой хваленый ум, с детской простотой принимал едва ли не каждого нового человека как доверительное лицо и вероятного товарища «до гроба». К сожалению, он так же легко разочаровывался и терял интерес к сверстникам. Детей в деревне было немного, и Ваня скоро остался совсем один.

Поначалу мальчик, по своему обыкновению, был вдохновлен новым знакомым. Он легко справлялся с Алешкиными странностями, будучи гораздо сильнее, и загодя пресекал всяческие спонтанные выходки одним только авторитетом старшего. Поэтому хулиган в его доме не хулиганил, а позволял вливать в свои уши всяческую разноплановую информацию, которую Ваня, под руководством матери, в изобилии получал из разнообразных детских книжек и журналов. Надежда Федоровна мечтала вырастить из сына ученого, и дом был завален детской развивающей литературой. Правда, Алешке быстро наскучило общество начитанного толстяка, а тот, в свою очередь, приобрел весьма нелестное мнение о способностях нечаянного подопечного. На том они и расстались. Сама Надежда Федоровна еще долго приглашала Алешку вместе с бабушкой к себе, кормила отменными пирогами и дарила старые одежды своего подрастающего и постоянно толстеющего сына. Бог знает, на что она надеялась в отношениях между ребятами, и была ли причина только в них, но почему-то она одна до последнего выгораживала Алешку перед всем селом, а заодно и перед стариками Жилиными. Наверное, как вдова она сочувствовала его сиротству. До тех пор, пока Алешка не повесил ее любимую кошку. Это случилось менее полугода назад. После торжественных похорон, которые состоялись во дворе Надежды Федоровны под той же елкой, на которой нашли труп животного, к Жилиным прибежал толстый Ваня и с удовольствием передал слова матери о том, чтобы «бздюх» больше не появлялся поблизости от их двора.

Теперь, завидев в окошке взволнованное лицо бабушки неприятеля, Надежда Федоровна многозначительно вздохнула и, перекатываясь тучным телом, пошла открывать дверь. Она в Рождество не гуляла и в церковь сына не водила, а ночью имела обыкновение спать независимо от праздников. Недавно она проснулась и жарила оладьи на завтрак, а напоминание об убийстве любимицы было жойрой женщине совсем некстати. Однако воспитанная Надежда Федоровна не могла позволить себе невежливость. Внимательно выслушав рассказ об исчезновении ребенка из уст учителя, она стала было вяло отнекиваться, но вдруг вспомнила, что давеча, когда выходила с Ванечкой на улицу, чтобы воткнуть в ледяную грязь свечу фейерверка — рождественский подарок, — видела, что вроде бы это он, Алешка, шел с собакой к полю. А она еще подумала тогда, что уж не преступничать ли тот отправился над животным.

— Значить, в поле ушел, разбойник! — взвизгнула бабка. — А чего ему, чего это ему туды бегать за надобность, спрашивается? В поле-то. В моро-о-оз!

— Погоди, мать, — перебил Дмитрий Иваныч и снова обратился к Надежде Федоровне: — А как возвращался, не видала?

— Нет. Мы воткнули, и я в дом пошла... А Ванечка вот гулял еще немного, здесь, у дома. А стреляли когда, так уж шумно на улице было.

Позвали Ваньку. Тот, оказалось, не замечал вообще ничего, кроме фейерверка. Но зато догадливо предположил, куда мог отправиться его бывший приятель — к магистрали.

— Он звал туда как-то, да я не хотел. Делать там нечего. А он ходил.

— А зачем ему туда? — удивился Дмитрий Иваныч.

— Ну-у, не знаю, — томно протянул умный Ваня.

— А уехать он хотел? Не говорил случайно?

— Да вроде не собирался.

— А если вернулся, куда мог пойти?

— Ну-у, может, к школе.

— А у школы-то что?

— Да там в беседках мальчишки костры иногда жгут. Ну во-от, он, может, погреться пошел. Костер пожечь.

К школе пошли уже втроем. Добрая Надежда Федоровна поступилась своими трагическими воспоминаниями и решила помочь в поисках. Шел уже десятый час дня. Неторопливые сельчане в зимние праздники становились совсем как слизи. Редкие встречные медленно ползли вдоль заборов, где грунтовая дорога немного ровнее, чем в центре, — вся в елках тракторных протекторов, замерзшая, темная, она резала село на две части. Одна, бóльшая часть до самого леса расстилалась одноцветными, торчащими вразнобой, покрытыми легким инеем крышами-скатами и имела вид оренбургского пухового платка, слегка потертого и запыленного от времени. Вторая, поменьше, состояла всего из двух недлинных рядов старых, но еще крепких деревянных срубов. С краю возле поля находились участки Жилиных и Надежды Федоровны, на первой улице большей части села жил Дмитрий Иваныч. Школа же стояла на главной площади, справа от нее возвышался белоснежный, с темно-серебристыми куполами храм старинной архитектуры, недавно восстановленный после советского безбожия, когда здание использовалось под продовольственный склад. Теперь отреставрированной церковью гордилась каждая душа в селе — и верующая, и просто уважающая красоту. Слева ютилось одноэтажное здание администрации с пристройкой участкового.

Пока шли через село в третий раз, о пропаже маленького Жилина узнали еще несколько случайных человек. Но никто больше не захотел помочь в поисках мальчика. Деревенские жители ленивы, пока горе не наступит на горло, тем более что сегодня горло почти каждого красногорца жаждало прежде всего похмелиться. Алешка был неприятен им, подступающую беду принимали за очередную неприятность со стороны надоевшего всем семейства. Стараясь припомнить как можно больше обид, причиненных им пропавшим теперь ребенком (у кого-то он украл вещи, у других — время или нервы, третьи, такие как Егор-Колесо, просто досадовали на сам факт его существования), жилинские односельчане ехидно посмеивались: «Бог дал, Бог взял». Кто-то предложил искать мальчика в храме, который был открыт всю ночь. Вдруг зашел погреться у свечей да и заснул там на лавке.

Но в доме молитвы Алешки точно быть не могло, бабушка знала, что церкви мальчик боялся и обходил стороной. Особенно после того случая, когда она попыталась сводить его к причастию. Бабушка перед этим походом долго показывала внуку скучную, как и всякая бумажка с непонятными Алешке закорючками, книжку, тыкала пальцем в картинки и целый вечер навязчиво рассказывала про голубя и про странных людей в платьях, которые изобиловали на них. Алешке тогда было около четырех лет. В храм пришли уже во время чтения еucharистического канона.

Кто-то с порога шикнул на непочтительно забывшего снять шапку (дело было глубокой осенью) ребенка. А потом еще одна необыкновенно старая, маленькая, сухая как жердь «колдунья» сипло отругала бабушку за то, что та встала спиной прямо перед ее лицом: «Женщина, молиться ни мишай-де. Крам тебе не рынок, чиво-й встала-то, толписся тут?»

Мальчик сначала с любопытством выглядывал из-за огромных, уходящих головами под купол взрослых, рассматривал росписи на стенах, маленьких, удивительно тихих детей, необычно отрешенных от своих чад взрослых. Все они, как один, устремили свои взгляды вперед, на высоченные золотые дверцы посреди храма. Алешка тоже стал смотреть на дверцы, ожидая, что, когда они раскроются, оттуда вылетит тот самый необыкновенный голубь, о котором вчера говорила бабка. Но вот его вместе с другими детьми подтолкнули к солее. На ступени уже вышел священник и начал читать «верую, Господи,

и исповедую, яко Ты еси воистину Христос, Сын Бога живаго...». И вдруг совсем рядом с ним оказалась та самая «колдунья». Алешка вдруг испугался, закрутился волчком, не желая идти к Чаше, а на уговоры смущенной бабушки «съесть компотик» страшно завизжал и ринулся прочь из храма. Больше Жилина его туда не водила, тем более что и сама она всегда с опаской воспринимала таинственность воскресного многолюдья.

А школа была уже рядом. Беседки на заднем дворе двухэтажного кирпичного здания, на котором болталась обмерзшая тряпичная вывеска «Добро пожаловать!», и в самом деле оказались с явными следами костров внутри. В самой дальней местная шпана прожгла доски насквозь и устроила из широкой дыры в полу общественный сортир. Наконец Надежда Федоровна заглянула в последнюю беседку, сморщилась и задумчиво, ни к кому не обращаясь, сказала:

— Скорее всего, Алексея здесь не было.

— Покуда знаешь? — всполошилась бабка.

— Ни говном, ни костром здесь не пахнет. Милые мои, надо нам к авто-трассе идти.

— Да как итти-то? Ой...

Старушка заметалась, стала торопить остальных, и первая, чудно переваливаясь на больных ногах, обутая во все те же тапочки, что и ночью, затропилась со школьного двора в сторону поля, не заметив, как слетел с головы платок.

Наверное, Алешка в конце концов потерял сознание или, может быть, провалился в мучительный сон, в котором было дьявольски холодно и выступали из тьмы и пугали его призраки ошипанных, без головы, голых, как курица Настя, в синих мурашках знакомых и незнакомых людей. Еще один раз он открыл глаза утром, когда слабые лучи зимнего солнца проникли внутрь и осветили верхние бревна колодца. Мальчик лежал в неудобной позе, скрючившись, щекой на земле. Шапка сползла с головы, грязная куртка задубела, а мокрые ступни в ботинках превратились в две бесчувственные тяжелые культи. Щека онемела, как и руки и ноги. Внизу стало чуть светлее, чем ночью.

Совсем обессиленный, Алешка только повернул лицо кверху, смог различить каменную кладку и внутренние бревна наружного сруба. Слабо позвал собаку. Но получилась едва различимый шепот, а кричать уже не хотелось, и тогда он молча устоялся в квадратный проем, шаря глазами по клочку неба. Бима не было. Ушел Бим, исчез без следа из квадрата над головой и даже забрал с собой свой тонкий голос. Теперь он дома, вместе с бабкой и дедом. У них тепло, есть еда и живые голоса. Где-то над колодцем закаркали вороны. Одна из них села на край оголовка, Алешка увидел шевелящееся пятно в квадрате неба. Птица, словно дразня, весело чесала клюв о мерзлое бревно и демонстративно не замечала живого человека. Спрятанный глубоко под землей, почти окоченевший, замерзающий мальчик для вороны был сейчас не более как безжизненный минерал в расщелине земли.

Алешка закрыл глаза. Стало необыкновенно спокойно и даже как будто теплее. Он подумал о том, что его, наверное, не найдут никогда. Плакать не было сил. Он очень устал. Где-то далеко-далеко шла жизнь, что-то шептал земле снаружи ветер. Мир не исчезал, он оставался и продолжал существовать, не провожая Алешку. А мальчик уже летел, улетал прочь из него. И оставалось неясным, хорошо это или плохо, страшно или восторженно. Мальчику казалось, он парит где-то посередине шахты. Под или над собой, этого было не понять, Алешка увидел сначала Бима, а потом деда. Дед, большое серое пятно, гибко менял очертания и ничего не говорил Алешке, а Бим больно лизал щеки. От этого на мокрых щеках как будто нарастала свежая корка льда. Лицо деда все больше походило на светящийся квадрат с глазами-воронами. Глаза, как нарочно, все норовили не смотреть на Алешку, отворачивались,

улетали, а мальчик, онемев, изо всех душевных сил старался позвать его и попросить пощады.

Потом сквозь веки просочился розовый свет, все та же невесомость подхватила Алешку с новой силой. Она долго раскачивала его, словно в люльке; но качающаяся размеренность раздражала, чудилось, что это забытая мать грубо толкает детскую коляску ногой. Спустя время все вокруг стало теплеть, Алешке сделалось очень больно. А сразу после этого он очутился в пустоте.

Степан Жилин проснулся примерно в то время, когда Дмитрий Иваныч с бабкой стояли у дома Надежды Федоровны. Он хорошо помнил все, что было вчера до того, как жена увела его спать. Степан встал, оделся, достал из холодильника банку с соленьями и выпил пол-литра огуречного рассола, позавтракал чаем с куском батона. Все это время он сосредоточенно хмурил морщинистый лоб, недовольно кряхтел, поглядывал на наручные часы, старые, советской сборки, напряженно вслушивался в звуки снаружи.

Несмотря на то, что Алешкин дед был человеком жестким и отличался грубостью нрава, особенно когда выпивал, в трезвости он оставался собран и сосредоточен. Жилин обладал стойким, закаленным послевоенным голодом характером. Беда в том, что как человек, воочию познавший крайности жизни, старик болел халатностью по отношению к вялотекущему быту, к которому мог отнестись почти все, кроме прямой опасности смерти — собственной или чужой. Степан Ефимович Жилин всегда боролся за спокойствие, но оно же его и угнетало. Взбудоражить такого человека могли только необыкновенные опасности. Но опасностей не случалось, дед нервничал и скучал. Не умея объяснить свою тоску, он заливался водкой, но после непременно возвращался к однообразному бытию.

После ухода дочери Степан совсем сник. Ее выбор пути и даже ранняя смерть не удивили старика, только еще больше яда выдавило одряхлевшее сердце. Горе не сломило его, не подавило морально. Степан не изменил своим привычкам, не оставлял работу в колхозе ни на день, по-прежнему пил с работниками и соседями. Но в его душе крепко засела и стала точить душу мысль о возмездии вселенского масштаба всем и за все. К появлению внука в своем доме дед успел сделаться язвительным, ворчливым, не верящим ни во что стариком. С женой он к тому времени жил как с чужой, представляя ее для себя старинной, но не самой приятной сожительницей, которой отчего-то, то ли от большой любви, то ли от приевшегося жениного занудства, желал справедливое, по грехам, воздаяние прежде других.

Мальчика Жилин вовсе не хотел брать к себе, прекрасно сознавая, что не собирается любить его и отнимать у себя ради него время от работы. Но деду пошел уже седьмой десяток, с последней должности все равно гнали за слабость зрения и старческую нерасторопность, а чувство долга перед кровным родством, перед отцами прошлого и поколением будущего все же взяло верх над равнодушием. Дед был человеком ответственным. Проникнувшись чувством долга, он старался исполнить свое предназначение на совесть. Именно из чувства ответственности Жилин бил Алешку, именно поэтому так глубоко винил его за бестолковость и злился на себя за то, что изменить что-то был не в состоянии.

Проснувшись, Степан сразу почувствовал, что случилось что-то недоброе. Во время мирного завтрака, который так контрастировал с тревожной атмосферой в доме, предчувствие стало угнетающим. Домоседка-старуха до сих пор не появилась, и Алешка, по всей видимости, так и не возвращался с вечера. Дед оделся потеплее, вышел, двинулся было в сторону центра, успев ругнуться на заливающуюся лаем собаку, но почти сразу в конце улицы показались люди, и впереди небольшой компании — дедова жена. Она почти бежала. Приглядевшись подслеповатыми глазами, Жилин удивился, что она без платка и в домашних тапках.

— Ну, чего? — спросил Степан запыхавшуюся бабку.

— С-степа, Лешка-то наш ночью на трассу ушел, а. За-за-задавили его ужо.

— Что ты мелешь, дура?

Тут подоспел Дмитрий Иванович, и за сразу ним — Надежда Федоровна.

— Степан Ефимыч, — хором заговорили они, — Стапан Ефимыч! Мы уж искали, искали. По всему селу искали. Вот, сын мой Ванька показал, куда Лешка ваш ночью двинулся. На трассу пошел. Может, сбежать решил?

— Он сбегать бы через автобус пытался! — закричала бабка. — А сейчас он задавленный там ляжит. Чуит мое сердце.

— Да ведь он с собакой был. Собака же одна вернулась, — внезапно осе-
нило учителя.

«Ах ты, сосунок!» — заикнулся было мысленно дед.

— На кой лях вы ее привязали тогда, дурни? — прорычал он.

На несколько секунд все четверо замолчали. В нелепых сетованиях на мальчишку, обвиняя его каждый по-своему, они потеряли драгоценное время. Внезапно всем стало ясно, что игры в воспитание закончились и что каждый из них сейчас может оказаться виновным перед маленьким ребенком, кото-
рый, вероятно, попал в беду, и, что много хуже, быть бесповоротно осужден-
ным собственной совестью.

Разом сорвались с места с изнывающим на привязи Биму. Как только пес почувствовал свободу, он помчался туда, где оставил маленького хозяина. Изредка он останавливался, оглядываясь, торопя людей. Темная земля поля поседела от инея. Ветра почти не было, небо затянули серые низкие тучи. Мороз с рассветом стал лютовать поменьше, разгоряченные люди распахнули куртки, упарившись от волнения и спешки. Жилины отстали, учитель с Надеждой Федоровной шли теперь впереди по следам Бима, как настаивал дед. Не то чтобы он полностью полагался на ум бестолкового пса, но в собачью преданность верил. А настойчивости животного, с которым уходил парень, поверил тем более.

Когда дошли до кустарника, нашли сад в необычайном оживлении. Ото-
всюду раздавались голоса птиц — хриплые вороны и галки громко переруги-
вались между собой, спящие растения волшебным серебром украшали торже-
ственность зимнего сна. Бим настырно лаял где-то в кустах и даже как будто
разговаривал, сердился. «Гав-урр-ррр-гав», — бурчал он. Дмитрий Иванович
первым пошел на его лай. Продравшись через замерзшие заросли, почти сразу
увидел колодец. Исследовав темноту внизу, крикнул остальным:

— Здесь! В колоде он! Эй, Степан Ефимыч! Скорее сюда!

— А-а-а, — закричала бабка и бросилась к колодцу поперед мужа. — Леш-
ка! Леська! Отзовися-а!

— Беги за канатом, — обратился дед к Дмитрию Ивановичу. — Я, видать, не
добегу. И, это... позвать бы кого.

Дмитрий Иванович рванулся обратно в поле. С ним убежала Надежда Федо-
ровна — звать на помощь. Когда вернулись, с ними были еще двое мужчин.
Деревенские наконец поверили беде. А уж тут невозможно было не отклик-
нуться. Один из мужчин, крепкий коренастый Виктор, тащил свернутую в
кольцо толстую веревку, второй, повыше, шел за ним размашистым шагом и
на ходу давал какие-то советы по спасению. Его никто не слушал.

Оба старика все это мучительно долгое время, перегнувшись, почти виси-
ли на стенке колодца и глядели вниз. Бабка громко рыдала, не видя ничего во-
круг. Мальчик лежал там, внизу, свернувшись в клубок на болотистом дне, не
шевельнулся и не отвечал. Дмитрий Иванович едва не силком отогнал их от края,
быстро обмотался веревкой вокруг пояса, отдал конец Виктору в руки, пере-
кинул ноги через верхнее бревно сруба и медленно начал спускаться, упира-
ясь ногами в стенки шахты. Мужик привязал конец к ближайшему дереву,
вместе с товарищем они ухватились за канат — один у самого ствола, второй
у перегиба веревки ближе к стене оголовка, осторожно стали приотпускать.

— Ванек, ептыть, держи крепче.

— Ну дык.

Через несколько минут из-под земли раздался взволнованный голос учителя:

— Я внизу. Он дышит!

Через пятнадцать минут Алешка уже лежал на земле снаружи. Мальчик был весь синий, с бордовыми, почти фиолетовыми ушами, сильно отеками, окровавленными, но ледяными, как у трупа, пальцами на руках и такими же набухшими, холодно-красными мешками вокруг крепко закрытых глаз. Губы ввалились в рот и плотно слиплись. Короткий «ежик» на голове и часть лица возле ушей были покрыты грязью. Под носом едва виднелись две широкие мокрые дорожки, свидетельствующие о дыхании, да слегка вздрагивали из-под опухших век покрытые инеем ресницы.

Когда достали, Дмитрий Иванович, откашливаясь, встал над Алешкой, уперся руками в колени. Надежда Федоровна бросилась расстегивать сырой Алешкин пуховик, одновременно пытаясь снять с себя пальто, чтобы закутать мальчика. Дед стягивал с внука мокрые штаны. Бабушка упала на колени перед мальчиком и по-девичьи запричитала. Виктор с Иваном молча стали рядом, закурили:

— Давай веревку, что ли, смотаем, — сказал Виктор.

— Ща, — ответил товарищ. Бросил окурки и стал снимать с себя фуфайку. — Натя вот, ноги ему укройте.

Как непослушную, выскальзывающую из рук тряпичную куклу, Алексея наконец раздели, безжизненного, закутали в сухую верхнюю одежду взрослых. Дмитрий Иванович поднял на руки маленький комочек детского тела. Надежда Федоровна ловко поймала Бима, слегка стукнула его по морде, чтобы не вырывался, и впихнула под импровизированные одеяла так, чтобы горячее собачье тело касалось Алешкиного. Пошел снег. В по-прежнему сером небе нагло каркнула ворона.

Только к вечеру за Алешкой приехала из Пскова машина скорой помощи, и его отвезли в больницу. Ребенок не приходил в себя. Пока его укладывали в ванну, сушили, грели, обтирали, он бредил женскими именами и геометрическими фигурами. А в больнице впал в кому. К ночи старики вернулись домой на попутке, бабка достала с буфета икону Богородицы, установила ее на тумбочке рядом с кроватью и стала молиться такими словами, каких никогда прежде не говорила ни Богу, ни людям. Возле иконы она и провела почти все время этой страшной недели.

В пустоте не было ничего. Не было времени, в котором возможно линейное мышление и перемены, не было чувств. Была только твердая уверенность в совершенной действительности, простой и ожидаемой, от которой никуда не скрыться и никогда ее не пережить. Личность, неосознанная, неясная, угнетающе равнодушно пребывала внутри зловещей нескончаемой бездны в относительной целостности. То была человеческая душа, не помнившая теперь и не знавшая никогда ни детства, ни жизни, ни людей, ни мира — ничего, что могло бы удержать, собрать воедино невнятное существование одинокой частности, бывшей некогда Алешкой.

В это время в реанимационном блоке Псковской областной больницы на холодной металлической койке, небрежно покрытой застиранной простыней, под аппаратом искусственной вентиляции легких лежало его бесчувственное маленькое тело. Кома длилась уже шесть дней, и никто не мог с уверенностью сказать, проснется ли мальчик когда-нибудь. Жилины напряженно ждали. Доктора между тем за ночным чаем воровато начинали заговаривать о возможно скором отключении приборов, которые создавали иллюзию жизни в теле ребенка. Решили оставить разговор с родственниками на первые после выходных рабочие дни.

А в воскресенье ночью внутри вечности, о которой никто из окружающих не подозревал, внезапно вспыхнуло человеческое сознание, и в этой вспышке Алешка узнал ее — пустоту отсутствия всего, узнал в себе скорбную скуку и ярое, уверенное желание жить. В одно мгновение не пронеслись, нет, но словно встали перед ним картины его жизни. И в этих картинах, просвечивающих одна сквозь другую, мальчик узнал одновременно и себя-младенца, и себя-пятилетку, и себя, царапающего стенки колодезной шахты. Все события, начиная от страшной жизни с матерью и отцом до самого падения под землю, оскорбленные старики Жилины, все мертвые кошки, все его гнусные радости и злая тоска, мысли и деяния — все стало вдруг понятным и очевидным. А сам Алешка не был ребенком, а был просто маленьким и ничтожным комком этих убивающих, постыдных, чудовищных образов. В этот же бесконечный, безвременный миг из темноты слепого небытия, что осталось за кругом видимого, ему навстречу выступил силуэт ангела. Он протянул к Алешке руки из складок просторного одеяния. И маленькая Алешкина целостность, не успев ни подумать, ни отступить, с неведомой прежде доверчивостью потянулась в ответ, желая лишь одного — утешения.

В то же мгновение шестилетний Алеша Жилин очнулся. Первым делом, не открывая глаз, он попытался сознательно вдохнуть воздух. Интубационная трубка помешала это сделать; Алешка забился, решив, что задыхается, захотел выдернуть ее из себя, но руки оказались привязаны к железным бортикам кровати. На шум горловых хрипов с пункта наблюдения сорвалась заснувшая было дежурная медсестра. Мальчик услышал: «Не бойся, сейчас задышишь». В палату прибежали еще какие-то люди, врачи и медсестры, из горла потянулась наружу жесткая чешуйчатая змея, и через минуту настало освобождение. Приоткрыв глаза, мальчик увидел яркий, теплый, знакомый искусственный свет над собой. Лица, иглу капельницы. Услышал звон пузырьков возле уха, негромкую неразборчивую речь. Утомленный, спокойный, в непривычной и пока еще непонятной радости самобытия, Алешка тотчас же уснул крепким, живым сном.

Через месяц Жилины забрали внука из больницы. Помимо многих ушибов и воспаления легких, за время, проведенное в колодце, мальчик получил обморожение конечностей и лишился навсегда трех пальцев на обеих руках. В больнице раны зажили, но воспаление сразу не могли остановить. Сказывалось долгое пребывание в коме. Дома Алешка до самой весны пролежал в постели. Ребенок мало ел и мало разговаривал. Зато очень много спал и часто говорил во сне. Степан с женой поначалу проводили у его кровати все время поочередно. Между собой старики почти не разговаривали, но старались оставаться предупредительными и даже ласковыми друг с другом, будто это кто-то из них, а не Алешка чудом остался жив. Каждый из них что-то решал про себя, но до поры они посвятили себя единственно выхаживанию больного внука. Изредка заходили соседи, заглядывал к Алешке и Дмитрий Иванович, и остальные спасатели. Теперь вокруг мальчишки плелся венок мученика, но ему было невдомек. На посетителей он глядел искоса, волчком, при родных опускал глаза, на вопросы о самочувствии отмалчивался, хотя относился к старикам теперь с каким-то трогательным стеснением, а чужих боялся скорее по привычке, потому что в сердце его почему-то жила теперь смутная радость, и обижаться ни на кого не хотелось вовсе. Редкие просьбы к людям он выражал теперь тихо, хмуро, но требовательный тон поумерил, может быть, от постоянно болезненного состояния, а может быть, еще от чего-то. Когда Алешка оставался один, он поворачивался в постели так, чтобы было видно квадрат окна, и в этом положении лежал часами. Иногда он полусшепотом что-то бормотал, словно пел без слов не понятные никому песни, похожие на монотонные стихиры.

Красногорцы по-разному восприняли происшествие с Алешкой. Участковый Клюев не показывался ни разу, но Жилины знали, что еще в больницу он

подсылал разведчиков узнать о состоянии мальчишки. Халатность, забытая в общей суете, не давала покоя капитанской совести. Клюев запивал ее, не закусывая, жаловался сельчанам на трудную работу и мысленно подыскивал себе новое место, опасаясь дальнейших приключений с «выжившим на кресте» разбойником. «Разбойник. Как есть разбойник. И еще неизвестно, с какой он стороны от Христа висел», — говорил Клюев собутыльникам.

Катерина, Иванова жена, хоть и с благодушием отозвалась на весть о том, что мальчик очнулся, соглашаясь с мнением участкового, полагала, что Алешка возьмется за свое, как только окрепнет и снова станет гулять на свободе. Ванька, сын Надежды Федоровны, обижался на перемену матери к убийце кошек. Та в благородном порыве высказывала сыну:

— Алеша чуть не погиб! Ты знаешь, как сильно может поменять человека близкая смерть? Он сейчас как будто совсем другой ребенок, Ваня. А ты...

Ванька прислушивался, но не понимал. Давнишняя гибель кошки не была для него особенной драмой, но слез матери мальчик не желал простить Алешке даже теперь.

В общем, сельчане разделились на два лагеря — тех, кто желал Алексею скорейшего выздоровления и перемены жизни, и тех, кто сожалел о том, что «бздюх» не остался в заброшенном колодце навсегда. Вторых было много меньше первых, но и те и другие, подобно болельщикам различных футбольных команд, с нетерпением ждали разрешения всей истории.

Алешка поправлялся медленно. Только спустя неделю по окончании Великого поста, в последний день Пасхи и накануне семилетия мальчика, его наконец увидели на улице. Он куда-то шел с бабушкой за руку. Шли медленно, наверное, гуляя. Алешка озирался по сторонам, пугаясь открытого пространства, от которого успел отвыкнуть. Люди видели, как возле церкви Жилина наклонилась к внуку что-то сказать, а потом вошла в храм. Алешка остался снаружи. Глянул на икону над входом, внимательно ее разглядел и пошел прочь, засунув руки глубоко в карманы новеньких джинсов. Из окна пристройки администрации настороженно выглянул участковый, через минуту он выскочил из дома к забору, но Алешка уже был далеко.

Вскоре мальчик свернул на свою улицу. По дороге он хмурился и улыбался одновременно. Глаза беспокойно шарили по деревенским домам и окрестным пейзажам, а себе под нос Алешка что-то тихонько продолжал напевать. Короткие волосы отросли за время болезни, падали на лоб, непривычно щекотали. Вдоль дороги росли цветы яблоневые сады, белые конфетти нежных лепестков сплошь усыпали тонкие переплетения голых веток. Из голубого, с проседью редких перьевых облаков неба ласкало оживающий мир долгожданное солнце. Отовсюду из скотных дворов доносились радостные славословия на языках домашних животных и птиц, ожидающих первого после зимы выпаса.

Уже недалеко от своего дома Алешка увидел тетку Катяху. Женщина заходила в дом, ведя за руку двухгодовалую дочку. Малышка усердно старалась стянуть с себя завязанную под подбородком шапочку, у нее ничего не выходило, она злилась и всерьез капризничала, норовя вырвать ручонку из материнской ладони. Та держала крепко. Лицо тети Кати показалось Алешке страшно усталым и, наверное, от этого особенно нежным, чего мальчик никогда не замечал раньше. Он похолодел. Но не от страха, как было бы привычнее, а от того, что внезапно вспомнил, а может быть, и придумал неожиданно для себя того самого ангела, что несколько месяцев назад разрушил его, Алешкину, смерть. Лица ангела он не видел и тогда, а сейчас был не уверен, что таковое вообще бывает у ангелов. Но как удивительно похожа на него показалась ему Катерина! И еще одно поразительное открытие успел в одну короткую минуту смутного воспоминания сделать для себя Алешка: образ этот напоминал всех людей сразу и, что самое впечатляющее, был сходен и с его собственной детской, простой душой. От этой мысли мальчишка едва не рассмеялся, так ему стало вдруг хорошо и легко на сердце. Будто зима взаправду ушла и солнце

больше никогда не опалит, а луна никогда не оставит его в темноте. Алешка побежал к дому соседки, а та в это время уже укладывала дочку спать.

Несколько дней назад Катерина проводила мужа-строителя в соседнее село на несколько дней работы и с тех пор оставалась дома в угнетающем ее материнском одиночестве. С Иваном, хоть он и лупил жену, было не так скучно, как вдвоем с малышкой. С мужем можно было выпить, повеселиться или побраниться. Одной, без супруга, Кате в четырех стенах становилось совсем невмоготу. Дочь хоть и была неоспоримо любима, но не могла дать вечно уставшей матери полноты радости. Мир казался женщине обязательной мукой.

Она начинала грустить о пропадающей зря молодости, тяготилась надоевшей зависимостью от ребенка. Раньше Катя трудилась в коровнике и рассчитывала на отличную карьеру ветеринара. Кроме того, до замужества и беременности она была видной девицей. И в деревне юной Кате было скучновато. Как только девушка закончила школу, уехала учиться в город. Студенческая жизнь, наполненная подругами, кавалерами и вечерами в клубах, пролетела одним нескончаемым праздником. Но после получения диплома Катя не смогла сразу найти работу в Пскове. Пришлось вернуться в деревню. Якобы на время. Однако поддалась ухаживаниям Ивана и осталась. Будущий Катин муж был тогда самым отчаянным из парней, с бойким, открытым характером. Казалось, что с ним все получится даже здесь. Повенчались же молодые «по залету», и, как положено приличным людям, сразу после свадьбы Катерина съехала от родителей.

Иван быстро потерял интерес к располневшей после родов жене. Стал пропадать подолгу на работе, дома грубил, стал бить. Если до родов он еще хоть немного заботился о Катерине, после предоставил ей существовать с ребенком в полном одиночестве, свел свои обязанности к скудному заработку разнорабочего без технического образования и только старался изменять не в открытую, пить не запоями и рукоприкладствовать не так сильно, чтобы жена пошла жаловаться. Катерина совсем сникла. Прошло почти три года, дочке зимой исполнилось два. А такой длительный срок бессменной обстановки в безнадежном со всех сторон замужестве для энергичной, веселой по натуре молодой женщины оказался каторгой. Она страшно уставала от уныния и проживала эти годы во все большем внутреннем напряжении и обиде на весь белый свет.

С утра она обыкновенно занималась домашним хозяйством, к обеду укладывала дочь спать и по случаю отдыхала сама, но тоскливые мысли о неудавшейся судьбе каждый раз захватывали Катерину и не отпускали уже до вечера. Через силу она заставляла себя играть с ребенком, выжимая из истерзавшейся души крохи материнской любви. К ночи Катя оставалась один на один с тоской, от которой получалось избавиться лишь ненадолго следующим утром.

Так тянулись нескончаемые дни ненавистной семейной жизни, так было и сегодня. Укладывая малышку в кровать, Катерина прилегла рядом, знакомые унылые мысли блуждали в голове. Сон уже захватил ее дочь и следом наваливался томной пеленой на нее саму, когда раздался громкий стук в дверь. Женщина встрепенулась, в мгновение ока вспыхнув раздражением. Стук повторился, девочка закричала, захныкала во сне. Катерина поднялась, укрыла дочь тонким одеяльцем и стремительными шагами направилась через весь дом к входной двери. «Только посмейте еще раз стукнуть, кто бы вы ни были!» — кипела она. Со злым остервенением распахнула дверь настежь так резко, что та едва не слетела с петель. На пороге стоял Алешка. От неожиданности он отшатнулся назад и чуть не упал со ступенек крыльца, но выровнялся и, дрожа, собрался было бежать. Тетка Катяха, как будто желая съесть мальчишку на месте и едва сдерживаясь от праведного гнева, приглушенно рявкнула:

— А ну стой! Говори, зачем пришел.

Алешка молчал, испуганно глядя на разъяренную, как росомаха, женщину. Круглая голова вжалась в худенькие плечи. Катерина грозно поторопила:

— Ну-у!

Тут она заметила, что Жилин держит руки за спиной. «Что он опять задумал? — промелькнуло в голове. — Только поднялся ведь, засранец мелкий».

— Говори, дурень. Да тише. Дашка спит.

Алешка нерешительно медлил. Катерина уже хотела силой заставить его показать то, что он прятал, но мальчик вдруг выпрямился, глубоко вздохнул и достал из-за спины кривой букет из веток цветущей яблони. Маленькая изуродованная рука без двух фаланг указательного и среднего пальцев крепко сжимала свежесломанные побеги. Белоснежные цветы улыбались Кате всей своей невинной простотой.

— Это вам, — пробормотал «бздюх», сунул цветы женщине в руки и стремглав помчался по улице к своему дому.

Ошарашенная Катя, опершись усталой спиной о дверной косяк, еще долго удивленно смотрела на белый букет. А вернувшись в дом, бережно поставила его в вазу с водой, вазу поместила на стол, села, сложив руки на столешнице, оперла подбородок на сжатые кулаки и так и просидела все время, пока не проснулась дочь, ни разу не подумав ни о муже, ни о своей несчастливой жизни.